

Лев Мочалов



IN MEDIAS RES

Лев Всеволодович Мочалов

In medias res

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6496785

*In medias res : Дневники, воспоминания, эссе: Геликон Плюс; Санкт-Петербург; 2013
ISBN 978-5-93682-886-7*

Аннотация

Предлагаемая вниманию читателя книга составлена из текстов, возникших «по ходу жизни». Здесь – фиксация каких-то историй, воспоминаний, фрагменты дневникового типа, заметки из блокнотов и записных книжек. Эти материалы относятся к периоду с конца 1960-х и по 1990-е годы, с последующими коррективами и добавлениями. Точные даты даются в случаях необходимости, подсказываемой соображениями содержательного порядка, – когда они что-то проясняют или документируют. *Автор*

Содержание

От автора	5
Заминка в преддверье	6
Апология неотправленных писем	10
Встреча после долгой разлуки	17
В светлых красках детства...	22
Сорока	26
«Миллион алых роз» и... зов бесконечности	31
Зарождение мечты	42
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Лев Мочалов

In medias res

В оформлении обложки использована работа Аси Мочаловой (1953–1979) «Тревожный вечер» (1969–1970). Аquarelle, белла.

Фото автора на обложке Ф. Лурье

© Мочалов Л., текст, 2013

© «Геликон Плюс», макет, 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

От автора

Предлагаемая вниманию читателя книга составлена из текстов, возникших «по ходу жизни». Здесь – фиксация каких-то историй, воспоминаний, фрагменты дневникового типа, заметки из блокнотов и записных книжечек. Эти материалы относятся к периоду с конца 1960-х и по 1990-е годы, с последующими коррективами и добавлениями. Точные даты даются в случаях необходимости, подсказываемой соображениями содержательного порядка, – когда они что-то проясняют или документируют.

Заминка в преддверье

Почему-то неотступно преследует строка Бориса Пастернака: «А я чинил карандаши, отшучиваясь неуклюже...» Почему – карандаши? Наверное, потому что «Не было в доме мышей, а было много карандашей. Лежали они на столе у папы и попались котенку в лапы». Котенка не было. Но стол – был. Вернее, не стол, а козлы, с огромной чертежной доской и наколотым на нее листом ватмана, по которому шурша ходила закрепленная туго натянутыми нитями рейсшина; и постепенно на листе появлялись контуры плана или фасада; из них потом, может быть, где-то далеко-далеко получался дом, намеченный сперва только тонкими карандашными линиями... Оказывается, для дома сначала нужны были карандаши. Много карандашей! И затачивал их отец превосходно. Тогда – так мне было не заточить. А сейчас – пожалуй, сумею. Почти так... Чему-то научился... Но и сейчас карандаши – для меня – пахнут годами моего детства, выглядывающего в мир из тепла комнаты с окнами, то – синими, то – белыми, то снова – синими и зеленовато-серыми, почти черными за крестовинами переплетов; окнами – без занавесок, изменением цвета возвещающими о приходе и уходе дня...

И все-таки, почему именно карандаши, а, скажем, не шариковая ручка, на худой конец, если не пишущая машинка? Потому, что карандаш как бы впитывается в лист, в его че-

шуйчато-пористую ткань, уходит в него, исписываемый со сладким шорохом, укорачиваясь постепенно, как горящая свеча, а вместе с ним словно бы какая-то временная частица твоей жизни входит в бумагу, и ты становишься беглой вязью торопливых строчек.

Надо ли еще оправдываться? Уж простите авторскую прихоть. «А я чинил карандаши, отшучиваясь неуклюже» – признаюсь! – для замедления повествования. Для размышления...

Итак, приступим к ритуалу. Сначала нужно найти под листками разбросанной на столе бумаги бритву. Постараться подцепить ее ногтем. Она, конечно, увернется, – стрельнет, щелкнет о поверхность стола. Придется изменить маневр. И бритва, прижимаемая пальцами, прошелестит по дощатому столу, и рука ощутит ее прохладную легкость и опасную остроту. Пальцы сожмут лезвие, расплющиваясь на его почти неощутимой толщине, и тогда можно прикоснуться чуть скошенной и поблескивающей гранью к глянцевице-граненому телу карандаша. Сперва лезвие соскользнет с лакированной поверхности, и она покажется неприступной. Но пальцы сплющатся еще больше, и бритва погрузится в древесную, чуть-чуть маслянистую плоть карандаша. И словно последует предначертанию, записанному в самой текстуре дерева. Нажим – и отскочила первая и, как оказывается, слишком большая стружка. Летит на пол. Перестарался. Осторожнее!.. Рука старается идти совсем лег-

ко – и стружки получаются совсем тонкие. Обоняние ловит и впитывает вязкий запах древесины и немножко горьковатый – крошащегося графита. Графит похрустывает при заточке, и хруст ощущается деснами. Левая рука поворачивает карандаш вокруг его оси, стачиваемый конус делается всё правильнее, а графитный стержень обретает устремленность шпилья. Шпиль – черный. Он резко выделяется на белом поле бумаги. Можно вывести первое слово. Но – хруп! И стержень сломался! Слишком изысканно был заточен! Не выдержал того напора, который потребовался тебе. Пусть уж лучше графит будет покороче, да понадежнее. А затачивать можно почаще. Чтобы были паузы. Чтобы немножко оглядеться. Набрать воздуха... Снова графит тянется к листу. Прикасается к нему. Слово выведено. Начертано. И ты начал отделяться от себя. И тот, отделившийся, спрашивает, а скорее, допрашивает. Откуда-то – оттуда, из неизвестной – непредставимой – дали:

– Зачем тебе это?

– Не знаю... Чтобы оправдаться, наверное...

– Но ведь ты собираешься писать правду?

– Да.

– Но ведь правда – это суд.

– Да.

– Устроить над собой суд, чтобы оправдаться?..

– Но если я что-то пойму в себе, может быть, и другой что-то поймет?..

Апология неотправленных писем

...В детстве я придумал себе такую игру: под утро, когда уже чувствовал скорое пробуждение, старался представить, что из каких-то дальних стран – с пальмами и баобабамии или айсбергами и северными сияниями – сквозь непогоду, метели и грозы, – плыву, еду, – нет, лечу! – в свой родной город. Вот уже он задымился заводскими трубами издали. Вот уже блеснула серебристым отсветом разветвляющаяся на несколько рукавов Нева и возник в легкой дымке шпиль Петропавловки, и совсем близко – проспект, на котором расположен наш дом, и тот переулок, который, как бы продолжив движение чуть взгорбленного деревянного моста, упирается в наши окна. И я лечу к ним, и влетаю в форточку, и тихо-тихо, чтобы никого не побеспокоить, ныряю в свою постель, и сворачиваюсь под одеялом. Открываю глаза – и я – действительно! – в своей постели. Я – действительно! – дома. На желтом паркетном полу – лежат косые ромбы ослепительного солнца. И я совсем-совсем проснулся! Чистота пробуждения пронизывает меня насквозь. И вместе с солнечным светом сотворяет комнату. Я узнаю когда-то покинутые вещи: стулья, наверное, успевшие где-то побродить, но настороженно присмиревшие; швейную машинку, с чугунными, затейливо-узорными боковинками, мамин туалетный столик, на изогнутых «оленьих» ножках, с зеркалом.

Зеркальная грань отбрасывает на стену радужно-пастельного зайчика, который снова и снова, если попытаться его поймать, почему-то вспрыгивает на тыльную сторону ладони. Я опять всё вижу впервые, хотя и нахожу и в том, и в другом что-то согревающе знакомое, существующее в далеком – за тридевять земель – вчера.

* * *

Сколько мне было? – Лет девять-десять? Уже шевельнулась потребность задуматься о предстоящей судьбе, и еще не было опаски оказаться не понятым, высмеянным.

И я спросил отца: «А в чем смысл жизни?»

Разговор происходил дома, в какую-то редкую неторопливую минуту. Наверное, я ожидал услышать нечто ведомое только старшим, таящее высшую мудрость и от этого почти запретное, – потому как четко помню: ответ «в том, чтобы хорошо жить» прозвучал для меня как оскорбление.

Жили мы – весьма небогато, (обстановка – самое необходимое, – притом, очень разношерстная; одежда – ни мама не модница, ни отец не пижон, а мне – всё перешивалось из старья; еда – «щи, да каша»), но к богатству, вроде бы, и не стремились. Постоянно испытываемая нужда не выливалась в чисто материальные вожеления. Поэтому слова отца болезненно резанули меня. Я имею в виду их прямой смысл. Но, отвечая, он как-то странно помедлил и хмыкнул.

Усмешка-то и показалась мне подозрительной. Ответив на вопрос, отец как бы оставлял его открытым. Ну, ладно: «Хорошо жить». А дальше что?

Пожалуй, только теперь я догадываюсь, что в усмешке (или в смешке?) отца таился и оттенок горечи, а может быть, вины (не сумел устроить личную жизнь, жизнь семьи, как подобает, – денег всегда не хватало), и забота о моем благополучии. Нежелание обольщать меня воздушными замками, маячившими за сверхзадачами. (А ведь, случалось, он подхлестывал мое честолюбие!). Мол, живи нормально, хорошо. А дальше – соображай сам...

* * *

Да, конечно, жизнь есть жизнь. И – надо жить дальше. Но почему я должен забыть о том, что выпало на мою долю, уйти от него? Ведь оно – мое. И только мое. Так сказать, неотъемлемая частная собственность. И потому моя – достовернейшая! – духовная реальность. Отказаться от нее – не значит ли отречься от себя?

* * *

Писать о том, что лучше всего знаешь. А это – прежде всего – твои беды и обиды. Стоит ли стыдиться их? Лишь

бы успеть понять, что же произошло с тобой? И почему всё так?.. Раз возникает вопрос, он требует ответа. Вот только додумать этот ответ не хватает времени. День сегодняшний наступает, размывая и заслоняя вчерашний день. По сути, мы в полной мере не осознаем жизни, не успеваем. Как не осознаем сна. Только лишь постепенно и трудно что-то узнавая о себе, как бы переходим из одного сна – в другой. Пробуждаемся – в новом сне. И наше прозрение – всегда запоздалое.

* * *

Может быть, и нужно писать о том, что никому не интересно выслушивать. Выслушивать – как твое, и со стороны, извне. Прочесть же это можно – как свое, изнутри. Как досказанное кем-то за тебя. Как свое сокровенное признание самому себе.

Пусть будет литература – не более, чем письмо. Письмо – самому себе. Зачем-то оно нужно, – письмо самому себе.

* * *

Странное дело: каяться перед кем-то, – хотя такая потребность и возникает, – было бы, все же, кокетством, домашним стриптизом, театром. Казнить самого себя, грызть, за-

нимаясь самоедством, – уже ничего не изменишь. Не вернешь. Почему же, несмотря на это, всё время происходит разговор с самим собой? Или с тем, что именуется совестью? Бессмысленный (прагматически) для тебя лично, для твоего «я», – он, видимо, не бессмыслен для «я общечеловеческого». Для Бога (человечества?) в тебе.

* * *

Письма не сочиняются. Они пишутся самой жизнью. И в них всё, что надо, окажется сказанным. Сам собой прорежется сюжет. Еще бы! Он уже есть. Жизнь думала раньше тебя.

* * *

Если ты берешься за перо, то обмениваешь свой срок на бессрочность. Твое письмо адресовано во «всегда». А ты живешь только «сейчас». Значит, уже, когда ты пишешь, твое письмо «есть», а тебя – «нет». Ты умер, коль скоро взялся за перо. Это подразумевается. Ты – умерший – разговариваешь с живыми. И тебе ничто не страшно.

* * *

Судьба ставит эксперимент над тобой, испытывает тебя на

прочность. А ты – не только наблюдатель эксперимента, но и его участник. Подопытный кролик. Однако – наделенный даром сознания и речи, пытающийся передать свою боль. Передал – значит, эксперимент состоялся.

* * *

Можно на двух страницах описать, как затачиваешь карандаш. И словишь при этом кайф, удовольствие от совпадения, попадания, точности. Ну, что ж, будем переживать заточку карандаша, если у нас нехватка иных переживаний. К тому же вкусное описание – как тонизирующий напиток. О, создатели тоников! О, кайфовики! – Развлекайте, увеселяйте, затейничайте! Ваше право, ваш хлеб.

Но, может быть, писание – не описание, а уяснение? И прежде всего – для самого себя. Слежение за опытом, который жизнь поставила – ставит – на тебе. Оперлируемый – и веди репортаж с операционного стола...

* * *

Надо выговориться. Надо кому-то излить душу, высказать, что у тебя накопилось. Иначе – страшно, можно задохнуться. Но не менее страшно оказаться чересчур откровенным. И дело не в том, что ты можешь предстать в непригляд-

ном свете. И даже не в том, что твой confident (чаще – confidentка!) из твоей откровенности отольет оружие, направленное против тебя. И ты будешь презирать себя, переживая свое унижение. Нет и нет. Та откровенность, о которой идет речь, представит тебя – вывернутым наизнанку. И потому – искаженно. Не случайно безоглядная откровенность нередко сопровождается разнузданной попойкой, о которой потом – и вспоминать стыдно. Слово, адресованное людям, вызывает к душевному такту. И вкусу. И всё же (и в этом парадокс!) движение искусства – в овладении новой степенью откровенности...

Встреча после долгой разлуки

...Фигура деда, силуэтом вырезавшаяся на снегу – в ушанке со свисающими тесемками и в черных валенках – четко отпечаталась в моей памяти. Автобус уже тронулся и, покачиваясь, поехал. А дед всё стоял. И мне – моим глазам – было не оторваться от него, как бы становящегося – по мере отдаления – всё более усохшим и согбенным. Я – вдруг! – понял, что больше его не увижу.

Он просил меня остаться. Хотя бы на день. Но, как тогда мне казалось, я не мог. Не мог потому, что обещал. Был заведен, точно будильник, который переставить уже не представлялось возможным. Сам предписал себе к вечеру вернуться в Москву.

А приехал я в Елец, где жил мой дед после семнадцатилетнего пребывания в сибирских лагерях и в ссылке, накануне вечером. Они – с Валентиной Алексеевной, его женой, маленькой хлопотливой старушкой, с неподдельным провинциальным радушием приняли меня в своей «квартире», – снимали какую-то часть старого деревянного дома.

О чем мы успели поговорить? Он, конечно, расспрашивал меня о моих делах. И я ему воодушевленно отвечал, делюсь тем, что тогда для меня было важным и о чем сейчас уже не помню.

Что узнал я от деда? – О нем! – Почти ничего. Запал в

память только один эпизод, спокойно и с усмешкой рассказанный им. Допрашивал его следователь, еще совсем молодой. И в какой-то момент, пытаясь защититься, дед сказал: «А как же Конституция?» И услышал в ответ: «Подотришь ты своей Конституцией!»

Эта, с осязательной зримостью вспыхнувшая передо мной, сцена так обожгла меня, что, может быть, заслонила или оттеснила какие-то другие моменты нашей беседы. Но и развернуться-то ей – не было времени. Встреча после долгой разлуки расплескивается в мелочах, в чем-то сиюминутном. До самого важного дело не доходит. Потому не услышал я того, что – теперь уверен – хотел бы мне поведать дед. И два его образа в моем представлении не совмещаются. Один, – относящийся к концу тридцатых, когда он, поседевший, но высокий и подтянутый (военврач, в петлицах две шпалы) приезжал к нам в Ленинград; а другой – к концу пятидесятых (к эпохе «позднего реабилитанса»), когда он стал ссутулившимся, придавленным годами стариком, – для меня – навсегда одиноко стоящим на снежной белизне...

Что пролегло между нами? И что было до этого?

Дома у нас, до 38-го года, когда деда забрали, висел его овальный фотопортрет в неширокой черной раме. На меня с требовательной серьезностью смотрело лицо с ежиком темных волос. От отца мне было известно: это мой дед – по выходе из тюрьмы. Сидел за участие в революционном движении. Вот ведь... И при царе – был неугоден. И при советах...

Никогда мне уже не узнать, как сам дед объяснил бы это...

На прощанье он подарил мне очешник. Самодельный, поразительно искусно вырезанный там, в местах ссылки. Каким-то зеком-умельцем. С монограммой: ИВМ (Иван Васильевич Мочалов) сверху и с надписью по латыни на внутренней стороне крышки:

«In medias res.» – По самой сути, без околичностей.

...А женщина, к которой я спешил, получила доказательство привязанности к ней. И непонятно, что больше: была ли обрадована или удивлена моим – в обещанный срок – возвращением...

* * *

Прошло время. И автор смотрит на себя прошлого, как на своего героя: он отделился от самого себя и может – в каких-то случаях – произвести замену местоимения первого лица на местоимение третьего. Не «я», а «он». И если даже герой говорит «я», то это всё равно «он». Потому что автор живет по своему адресу, там, где прописан. А герой прописан в книге...

* * *

Он говорил: так я ничего и не успел – имея в виду, что

жизнь уже на излете, – в надежде услышать Её опровержение. Но Она, – избранница «на всю оставшуюся жизнь» после томительных лет его вдовства, молчала. А ведь ему только и надо было – Её признание. Именно Её. Потому что он преклонялся перед Ней... Но, может быть, и вообще, думал он, не нужно признания со стороны многих. Быть кумиром тысяч и миллионов – сомнительная честь и участь. Вполне достаточно, чтобы у тебя был один читатель, чтобы он тебя понимал и любил. И если нас принимает хотя бы один человек, – это уже путь ко всем. Пусть не буквально, но в принципе. Важно убедиться, что твой звук находит соответствующий отзвук, или зов – отзыв. В этом главное.

* * *

Картины и мелодии пути. Картин – много. Их невозможно представить все вместе. Одна сменяет другую. Мелодия – общая. Настроение непрерывное. Скажем, тональность начинающейся, кое-где уже пробившейся желтизной, осени.

* * *

Очевидно, с читателем нужно уметь играть. Читатель любит, чтобы с ним играли. И хорошо, когда и самому писателю играть интересно. Это игровое начало очень сильно в ря-

де не столь давних прозаических вещей. Например, у Катаева – «Алмазный мой венец», где читателю почти предложена викторина: загадки или задачки на раскрытие прозвищ-псевдонимов. Наша интеллигенция может тешить себя тем, что разгадала (разоблачила) столько-то реальных персонажей. Здесь есть свое соревнование, своя шкала самоутверждения в успехе. Всё это к тому же приправлено анекдотами, рассказанными очень вкусно.

А если писать без игры, позволяющей автору как бы скрываться за ширмой, показывая лишь марионеток своей памяти или фантазии? Писать, так сказать, на полном обнажении. Возможно ли это? И нужно ли читателю? Так или иначе – потребность в этом несомненна. Писать – не про экзотику внешнего. Ибо внешнее – это всегда экзотика, а про свое. Писать о подлинной реальности, а реальность – это мука душевная.

Конечно, писать о своем как-то стыдно; стыдно и раздеваться у кого-либо на глазах и изображать себя центром Вселенной. Но ведь всё равно человек (личность!) чувствует себя пупом земли, средоточием боли мира. И не в этом ли всечеловечность личной трагедии каждого? Так уж водится – для людей наиболее ценно то, что каждый человек знает о самом себе, любимом. В конечном счете – всё сводится к одному, так сказать, жанру – письмам к самому себе. Вся наша духовная жизнь – письма к самому себе и не более.

В светлых красках детства...

Шашечный натертый паркет был густого желтого цвета, который вспоминается мне тяжелым по сравнению с тоже желтым, но легким цветом танинных волос. Они – почти такие же, как в книжке у нарисованной девочки. Но её зовут не Таня, а Лена. Лена – лён – лимон. Потому и волосы отдают острой лимонной кислинкой и в то же время похожи на огонь, на пламя, когда печка разгорается, и оно гибко охватывает, обнимает поленья...

С нами еще Гулька, тоже, как и Таня, – сосед. И мы в целой квартире одни. Родители – кто на службе, кто – где.

На полу раскладываются кубики. Возводятся и разрушаются дворцы. Но это занятие быстро надоедает. Особенно – моим друзьям. Гулька старше меня на три года, Таня – на два. Настает минута, наполненная ожиданием неизвестно чего, томительная и тоскливая. И словно не сама Таня, а кто-то ее губами роняет: «А вчера похоронили Гулю Берковича, из 8-ой квартиры (я знаю, она этажом ниже), девять лет было...» Совпадение имени умершего (говорили потом – от туберкулеза) мальчика с именем Гульки меня озадачивает. Наверно, я беспомощно смотрю на него. Но он храбро сообщает: «Я видел! Народу было!..»

Томительное молчание возобновляется. На паркет падают солнечные отпечатки окон, воспаляя его желтизну. И,

кажется, от огненных танинных волос непредвиденно вспыхивает ее идея: «Кто лизнет пол?»

Нам хорошо известно, что нельзя есть упавший на пол хлеб, а если уронил яблоко, надо его вымыть, – на полу всяческая грязь, микробы, – маленькие, но очень вредные зверюшки, которых не видно, но от которых люди болеют и умирают...

Взрослые, конечно, не разрешили бы лизать пол. Но запрет, невидимо, но ощутимо возникающий перед нами, не отпускает, а, напротив, распаляет нас. Мы еще ничего не знаем о библейской истории сотворения человека, о заповеди Бога, об искушении и грехопадении первых людей. Но наша Ева говорит: «Ну, кто первый?»

Гулька становится на колени (как моя бабушка во время молитвы), зачем-то смотрит вверх, словно набирая воздух перед прыжком в воду, и, закрыв глаза, быстро наклоняется, прикасаясь языком к полу. На полу остается влажный след.

Таня с выжидательной улыбкой Джоконды смотрит на меня. Я тоже становлюсь в ритуальную позу. И стараясь повторить всё то, что совершил Гулька, наклоняюсь к полу и кончиком языка ощущаю шершавую вощеную текстуру дерева. В нос, тоже коснувшийся пола, ударяет легкий запах мастики. Я распрямляюсь, тыльной стороной ладони стараясь стереть набежавшую слюну.

Таня победоносно взирает на нас. Её карие глаза поблескивают. Но она не торопится проделать то, что проделали

мы. Медлит. И мы вдруг чувствуем ее власть над собой. Как будто она намного старше нас. И если не захочет, то может и не сделать того, что сделали мы. Скажет: «Я не дура! Не то, что вы, мальчишки!...» Да еще родителям, чего доброго, нажалуется...

Но Таня избирает другой вариант. Она тоже с подчеркнутой строгостью становится на колени. И – проделывает установленный ритуал. Трижды! Мы онемело следим за ней. Каждый раз ее волосы стряхиваются на квадратное солнечное пятно и желтизна их как будто распыляется от яркого света... Наконец, Таня распрямляется, как бы предъявляя нам свое лицо, – бледное и торжественное. Её превосходство, её главенство над нами утверждено. Да, она перехитрила нас. Но произошло и что-то еще, нечто более важное. Мы все вместе переступили запрет взрослых. И теперь – связаны. Связаны общей тайной и преступлением. А преступление в том, что каждый посмел играть собственной Жизнью. Прикоснулся к Смерти. И отныне несет на себе ее печать. Вобрал в себя ее коварных посланцев – микробов. Отныне мы оказываемся в заговоре. И тайный смысл его – в постоянном страхе смерти и в самонадеянной отваге – несмотря на это! – жить. Мы – уже сообщество. Мы – поколение...

И если, пытаясь описать свершившееся, я лишь реконструировал его, а реконструкция всегда в какой-то мере и фантазия на тему, и таких фантазий может быть множество, то суть, истина явления – как оно запечатлелось во мне – до-

стоверна. Достоверна, – как акт самопознания.

Для беллетристики добавлю.

После Войны Таня уже не жила в нашей квартире. Но как-то позвонила по телефону, и мы решили встретиться, пойти в кино. Так получилось, что к нам присоединился гулькин двоюродный брат, его ровесник, – Гоня. (Сам Гулька – Игорь – еще не вернулся из армии). После кино все вместе шли где-то по проспекту Выборгской стороны, болтали. Каждому нужно было на свой трамвай. Подошел – танин. Мы, прощаясь, еще о чем-то договаривались. Затем она поднялась на площадку, вагон двинулся, и на подножку быстро вскочил Гоня. Махая мне рукой, он смеялся. Улыбалась и Таня...

Волосы у нее были черные.

Сорока

Какие-то эпизоды прошлого предстают передо мной уже на большом временном отдалении, и мне (опять таки!) легче писать о себе, глядя на себя как бы со стороны... Вам было лет по 18–19, когда вы – ты и твой друг – отправились на его родину, в Ярославскую область. Невзрачная, опустевшая за время войны деревня. Поля, леса, на десятки километров – ни души. С ружьями – вы чувствовали себя отважными первопроходцами. Мужественно вышагивали километры, бродя по перелескам в поисках дичи. Но природа утаивала, не выдавала ее. Без собаки – и с ружьями – нечего было делать. Утомленные хождением впустую, простившиеся с надеждой на скорую удачу, возвращались домой. Около деревни черно-белыми вертящимися пропеллерами мельтешили сороки. Коротко оглашая окрестность своими невидимыми трещотками, они перелетали с места на место.

Дома ты присел на лавку, чтобы вынуть патрон из ружья, из которого так и ни разу не выстрелил. Друг отлучился куда-то. Тут-то она и разошлась, раскричалась перед самой избой, эта нахальная сорока. Патрон еще был в стволе. Резким движением ты выпрямил ствол, взвел курок и выбежал на крыльцо. Выпорхнув из-за дерева, сорока как раз пролетала над твоей головой. Ружье выстрелило ей в лёт как бы само по себе. Птица словно споткнулась в своем направленном дви-

жении и косо, и уже не мельтеша крыльями, упала на землю.

– Здорово! Ну, молодец! – кричал подбегающий друг. А ты, подавляя наклоном головы прихлынувшую гордость, деловито-небрежно выдувал дым из откинутого и освобожденного от гильзы ствола.

Сорока лежала на грядке, зацепившись веерообразно распахнутым крылом за пожелтевшие картофельные стебли. Красивая, нарядная. Белый цвет оперенья контрастно оттенялся черным, а черное отливало золотисто-изумрудным.

Долго разглядывали сороку. Но ничего не оставалось делать, как похоронить ее. Сходил в хлев за лопатой. Три-четыре раза копнул землю у межи. И вот уже, как и положено, над птицей, засыпанной землей, поднялся маленький, обложенный дёрном холмик. Неподалеку нашелся подходящий булыжник – надгробие.

Друг, тем временем, успел сбегать за своим ружьем. Вместе – театрально застыли в минуте торжественного молчания. И он разрядил два патрона в небо, отдавая почесть сороке. (Что – сорока! – На недавно откатившейся войне, унесшей и его отца, гибли люди, миллионы...)

Дома хозяйка поставила на стол неизменные щи и картошку в мундире. Но есть не хотелось. Как же так получилось? – думал ты. Ружье, выходит, сообразило за тебя? Оно – повелевало тобой. И выстрелило, используя твои руки. К сожалению, метко.

О таком ли выстреле – в кого? – в сороку! – ты хотел бы

рассказать ей? Той, что уже три недели не отвечала на твои письма! Было мучительно оттого, что ты «не совпадал» с самим собой. Хотя тогда еще не возникало тех слов, что пришли значительно позже, объясняя смысл поступка, возможность которого в себе ты и не предвидел. – Жалкая жажда самоутверждения! Тебя забыли, и ты искал случая спастись от собственной ненужности, неприкаянности? Ружье соблазнило легкостью доказать себе самому свою удаль, свое – мнимое! – могущество. Бахвальство – от неверия в себя!..

Но сорока-то – причем?

* * *

Прозаическое слово должно быть въедливым. Должно «расщеплять» предмет исследования. Лишь в этом случае – при «расщеплении» – выделяется энергия согревающего откровения.

* * *

Говорят, что самые хорошие мысли приходят на лестнице. Это правильно, но суть дела остается в тени. А она заключается в том, что мысли рождаются из осознания несоответствия действительно сказанного и возможного. Отсюда – чувство неловкости, стыда, вины или, напротив, обиды. На-

стоящие мысли – это мысли раскаяния или бунта, протеста. И их источник – мучительное соприкосновение с людьми, с которыми ты продолжаешь беседовать и спорить уже в одиночестве.

* * *

Когда-то мне хотелось написать роман (или хотя бы повесть) в письмах. В этом было посягновение вернуть слову его основную первородную ценность: слово – весть, слово – письмо. «Я тебя люблю». А какой у тебя нос и какая у меня борода – это дело живописи или даже фотографии. Точно также мало цены имеют диалоги, записанные, вроде бы, с натуры. Если фотография взяла на себя многие функции живописи, то и магнитофон тоже должен был бы повлиять на прозу. Монолог же записать может только человек, писатель. Что вовсе не исключает диалогичности монолога.

В том романе в письмах писать поначалу должны двое, а потом герой (он же автор) в своей безумной жажде правды... начинает писать за героиню. Он оперирует своими версиями. И сам борется с ними. Сам воюет с собой...

* * *

Новейшая история вернула живописи ее первооснову:

краску и линию, ее первоэлементы. Почему нечто аналогичное не ждешь в литературе? По глубинному предназначению литература – не описание, не перечисление, даже не создание словом «эффекта присутствия», а письмо. И «реальность» литературы не в живописании, а в «расщеплении» чувства, в обнажении внутренней коллизии. В анализе мучающего тебя.

Если и может быть человек в чем-то искренним, так это в письмах, причем – неотправленных. Возможно, настоящая литература и есть неотправленные письма. Послания самому себе. А через себя – кому угодно, всем...

«Миллион алых роз»

и... зов бесконечности

Отчетливо помню то место, где это произошло. Буквально в нескольких шагах от угла проспекта Добролюбова и Кронверкского (Максима Горького), напротив парка. Мы с отцом как раз завернули за угол дома, выходя на Кронверкский. Вечер был холодный и безветренно-ясный. Невольно потянуло взглянуть на небо, где резко проступили звезды. Одни – больше и ярче, другие – меньше, затаеннее. Но все – своей непререкаемой явленностью заставляющие смотреть на себя; рассыпанные как будто бы и произвольно, но, в то же время, образующие некий незыблемый порядок. С такой свежестью, с такой обнаженной остротой они передо мной еще не представляли. Я впервые *увидел* их. Увидел, – задумываясь. И спросил:

– Пап, а как же это так – звезды?..

Отец охотно отвечал: каждая звезда – это солнце. Только очень-очень далекое. Потому они такие маленькие...

– А что за ними?

– За ними – еще звезды, те, что уже невидимы...

– А дальше?

– Дальше – бесконечность.

– А как это – бесконечность? Вот ты – выше меня. Но

дерево – выше тебя. А выше дерева – дом. В высоком доме уместится – ну, два дерева. У всего есть своя высота. А там – нет?.. Тогда что же там?..

Не помню долгих рассуждений отца, всё время соскальзывающих куда-то не туда, – то на названия созвездий, то на ориентацию по Большой Медведице. Я понял лишь, что он не знает чего-то самого главного. И его защита уже не казалась мне безоговорочно надежной... Пожалуй, я впервые пожалел отца. И замолчал...

Сколько мне было лет? – Семь? Восемь? Девять?..

* * *

Любое измерение как бы не имеет ни малейшего отношения к сущности бесконечного. Не затронутая им бесконечность лишь отодвигается в сторону, улыбаясь и зазывая нас вновь, как мираж в пустыне.

* * *

Конечность предметов, окружающих нас в мире, – не более, чем иллюзия, порождаемая соизмеримостью разных вещей. Это как бы две скорости (или несколько скоростей), на каком-то этапе сопоставимые друг с другом, но принадлежащие поездам, летящим из бесконечности – в бесконечность.

* * *

Единство мира, единство Вселенной! – Соблазнительная, искушающая идея! Но не основана ли она на единстве самоощущения нашего «я», уверовавшего в собственную значимость? О каком единстве можно говорить, если даже пределы нашей галактики исчисляются сотнями световых лет? А «видимые» пределы Вселенной – это тысячи, миллионы световых лет! Скорость распространения света – максимальная физическая скорость. Но, что же, тогда обеспечивает единство Вселенной? Какая связь, какое взаимодействие? Что одновременно координирует всю эту систему? И можно ли координировать систему, являющуюся бесконечной? Тезис о единстве приходит в противоречие с тезисом о бесконечности. Если сама бесконечность как особая субстанция не обладает свойством единства. Ведь, собственно, разделяет предметы – конечность...

* * *

Бесконечность... Что же это за «материя», которую можно мерить, но нельзя измерить? По определению она ускользает от наших метров, километров, световых лет. Словно таинственная граница всё время убегает от нас, отодвигается,

как только мы придвигаемся к ней, подобно горизонту. Или пространство Вселенной, как и плоское по видимости пространство земли, тоже каким-то образом замыкается на себя? И что тогда за ним? Или, бесконечность некая изначально другая субстанция, сопровождающая всё то, что конечно, какой-то – расходящейся во все стороны – волной? Волной, сотворяющей пространство? И коль скоро она неизмерима, то и не представима и непознаваема. Но странно, почему именно наличие этого непознаваемого подвигает, зовет нас к познанию? Если бы всё было измеримо, как это кажется нам в нашей комнате, захотели бы мы познавать мир?

* * *

Глубина суждений и возможна лишь в частностях. Ибо общее – непознаваемо. Что такое Всё? Кто ответит? Но! – Ведь что-то мы познаем... Как скучно был бы устроен мир, если бы всё состояло из познаваемого? Поэтому самое ценное в любом познанном – указание на непознанное, посылаемое нам непознаваемым...

* * *

Любая система должна выдержать экзамен на существование. И этот безжалостный экзамен бытия вынуждает ее к са-

морегуляции, совершающейся в рамках определенных возможностей. Но саморегуляция – это и есть внутренняя логика системы, ее далеко не всегда осознаваемая идея. Это и есть разум природы, существующий помимо человеческого ума. А может быть, ум человеческий – лишь частичное оформление бессознательного разума природы...

* * *

В чем целесообразность для той или иной системы сознающего себя разума? Казалось бы, для совершенствования этой системы? Но так ли? Ведь человеческий разум сплошь и рядом действует вопреки интересам системы. Более того, человеческий разум очень часто действует себе во зло. Остается предположить, что это как-то целесообразно если не для отдельного человека, то для социума. Очевидно, социум не совершенствуется по тому или иному, даже самому наилучшему, проекту, плану. Однако социуму для его развития нужны какие-то перспективы, варианты решений. Они открываются людьми и реализуются в его саморазвитии. Вообще важен не столько план, сколько импульс, напор, потенция, которая и реализует себя при определенных вариантах развития. То есть надо предоставить жизни множество вариантов, а она сама найдет оптимальный. Он и окажется наиболее разумным, коль скоро будет утвержден повторяющимися циклами...

* * *

В природе всё циклично или волнообразно. К тому же у нее неисчерпаемый запас времени. А значит, возможность пробовать (и ошибаться), что заставляет природу «умнеть». Заставляет становиться гениальной в своих творениях. Механизм памяти-забвения (биологический, генетический) тоже служит саморегуляции и самонаучению системы – во времени.

* * *

Горький парадокс: животные лишены разума. Но их взаимоотношения с природой разумны, так как не нарушают равновесия природы, не отравляют окружающей среды. Люди – одарены разумом. Но по отношению к природе ведут себя в высшей степени неразумно, разрушая «дом», в котором они живут, – окружающую среду, подрывая основы своего существования. Странно: разум на службе у неразумения! Безумный разум?

* * *

Понятие конечного оказывается лишь утешительной ил-

люзией. Иллюзией – понятного. Мы занимаемся игрой с иллюзиями. А за ними – реальность бесконечного. Вещь в себе. И, может быть, большее, что нам дано, – подозревать о ней.

* * *

Человеческое сознание не способно представить себе бесконечность как материальный объект. А если материя состоит из вещественных объектов, то и представить себе бесконечность вещественной материи невозможно. Можно купить одну розу, можно букет из пяти-семи-пятнадцати роз; можно, наконец, купить «миллион алых роз». Но всегда – в реальности – это будет конечное число. Счет, распространяющийся в бесконечность, – лишь унылая умственная абстракция. И вот возникает крамольная мысль – не имеет ли БЕСКОНЕЧНОЕ отношения к чему-то идеальному, принципиально неисчислимому? Ведь именно идеальное содержит в себе всё новые и новые возможности. Ибо оно как бы порождает их, сочиняет... Как легко обожествить бесконечность! Особенно, если увидеть в ней творящее начало... Бесконечное продолжение одного и того же – отдает бессмыслицей.

* * *

Если мир бесконечен, и не только количественно («дурная бесконечность», по Гегелю), но и качественно, то в нём всё возможно. Бесконечность – это все-возможность. Всомощество бесконечности лишь на каких-то участках создаёт для себя (или избирает) правила игры, как, скажем, поэт добровольно использует сопротивление материала – размера, рифмы, синтаксиса...

* * *

Бесконечность способна соблазнять нас как беспроигрышная лотерея. Поскольку у природы неистощимый запас времени, любое сочетание элементов, составляющих некую систему – в принципе! – возобновимо, повторимо. И для каждого из нас брезжит возможность родиться вновь, в силу свободной игры случайностей, опекаемых законами статистической вероятности. Выпадает же в спорт-лото – пусть через очень долгий промежуток времени! – уже бывшее когда-то сочетание 6 видов спорта. Все же, трудно себе представить, что случайно выбрасываемые буквы – даже в бесконечности времен – когда-нибудь сложатся в «Войну и мир» или хотя бы в небольшое стихотворение Пушкина. Творче-

ство, хотя и включает в себя игру, в глубинной сущности своей не есть игра случайностей.

* * *

Хочется в бесконечности увидеть возможность всего. Тогда и чудо возможно. Пусть для него и необходимы свои «удобства» – условия места и времени. Понять бесконечность можно только как вечную возможность другого, нового.

* * *

Казалось бы, осознание бесконечности познания должно было бы парализовать человеческий разум. Тем удивительнее, что человек, все же, стремится к познанию, жаждет его. Как будто так человеку предназначено, предписано...

* * *

Исследование частных, знакомство с их особенностями должно подразумевать ожидание чего-то принципиально другого – в целом. Ибо переход к системе целого – это переход в новое качество, в новое измерение. Кажется, на этом стоит вся иерархия мира.

Разговор с Н. А. Дмитриевой. Она написала работу об интерпретации. С разговора о ней и начался наш спор. Нина Александровна заметила, что очень многое зависит от нашего восприятия. Это как тот множитель, на который перемножается некое число – рассматриваемый «предмет».

– Да. Но если множимое равно нулю, – возразил я, – художник Н., например?

Нина Александровна как бы уходила в сторону... А потом воскликнула;

– Что вы всё со своим Н! Конечно, должно быть и произведение искусства, и его ценность. Но она – вещь в себе. Непознаваемое...

– Да, – ответил я, – но почему-то непознаваемое и инспирирует наши посягновения познать. Как ни парадоксально, но мысль о непознаваемом, о бесконечности и непостижимости ее, не парализует нашего сознания и познания, а, напротив, взывает к нему!

– Зов бесконечности, – сказала Нина Александровна, – это, да!..

В самом деле, заботой о непознаваемости мира терзаются существа, познающие его, – люди...

* * *

Осознание человеком (в отличие от животного) собственной смертности как бы получает компенсацию. Неожиданное вознаграждение приходит из бездны бесконечности, раз-
верзающейся над ним. Ведь перед ликом её – мы дети и всё
всегда вначале. Она утешает и завлекает нас тем, что нечто –
и самое таинственное и значимое! – еще впереди...

Зарождение мечты

Приятель был года на два, на три младше меня. Мне было лет 9, ему – 7 или даже 6. И на день рождения он подарил мне игрушку – огромную собаку, грубо сделанную из папье-маше и аляповато раскрашенную. Эта собака была мне совершенно ни к чему и как бы обижала своей никчемностью. А ведь подарок был – от чистого сердца. Мой друг подарил мне то, что, конечно же, хотелось бы получить ему самому! Пожертвовал, так сказать, своим заветным!..

Помню и другой подарок. Однажды отец принес большой сверток. И в нем оказалась роскошная модель яхты. – Голубой, с белыми парусами. Всё, как настоящее, только маленькое. Рассматривать – интересно. Но и с ней делать было нечего. Что такое яхта без воды? Пускаться на Неве – с гранитных набережных – не очень-то удобно!.. Так она и пылилась наверху шифоньерки. Но, может быть, и отец, как тот мальчик, подаривший огромную собаку, подарил мне нечто для себя очень дорогое? – Модель какой-то неосуществленной своей мечты?..

* * *

Все грезил Арктикой, полярными сияниями, белыми

медведями. Нужно было немедленно отправиться туда! Мечта, чтобы соприкоснуться с реальностью, должна была сию же секунду начать осуществляться. Мы с Гулькой решили строить БАРКУ. (Именно «барку», не «баржу» – очевидно, покоряла романтика слова). Но где взять материал для воплощения мечты? Это было главной проблемой. Возникла идея: выломать доски задней стенки у кухонного стола, принадлежащего сердитой соседке. Она была в отъезде. Но доски оказались очень тонкими. Позвали Шурку, гулькиного двоюродного брата, сына дворника. Он всё быстро понял и притащил досок от каких-то ящиков. Однако на барку строительного материала пока всё равно было недостаточно. Ну, что ж, будем сколачивать киль, ведь барка не может обойтись без кия! А там – посмотрим! За дело взялись с вдохновением и азартом. И за вечер, хотя и с немалыми трудами, киль был сколочен! Мечта НАЧИНАЛА осуществляться. Собственно, этого оказалось вполне достаточно. Наша энергия, жаждавшая действия, получила разрядку. А сознание, продолжавшее жить мечтой, вполне устраивал распространенный еще в средневековых изображениях символический принцип «парспротото» – целое по части. Этого хватало, – на какой-то срок: по законам детства завтрашний день открывал новую эпоху, принося с собою другие увлечения и заботы...

* * *

Желуди!.. Ими набивались полные карманы. Но смысл собирания был вовсе не в их использовании, а в самоутверждении. (Осеннее богатство без сожаления выбрасывалось вместе с мусором по весне!) Суть азартного сбора желудей была в обретении собственного могущества. Среди дворовых ребят возникала своя иерархия удачи и неудачи. Королем был тот, у кого от множества желудей оттопыривались карманы. Маслянисто-тусклым блеском они напоминали троны. И это было серьезно...

* * *

Детство не знает иерархии ценностей и потому для него важно всё – и характер рвано ограниченных полос арбуза, и цвет вдруг раскрывающейся розово-красной, мерцающей капельными звездочками влажной мякоти, и темнота удивительно скользких, упрыгивающих семечек... Детство жадно цепляется за каждую мелочь. Не оттого ли его время так насыщено событиями, которые переживаются остро и свежо, часто – впервые. Это время более ёмко, чем время зрелости. Зрелость – целеустремленность, специализация интереса и – соответственно – «невиденье» того, что к нему не относится.

С годами некий луч нашего внимания становится всё уже и уже. Всё второстепенное отсекается.

* * *

С возрастом – это замечено – время летит всё быстрее. Оно как бы протекает меж пальцами, мы не успеваем его пережить, распробовать, вкусить. Ослабело наше сцепление со своим временем. И это время уже не наше, а тех, кто моложе нас. Возможно, это происходит отчасти потому, что «впечатленья бытия» всё более становятся знакомыми, теряют новизну. Они уже сразу укладываются в готовые ячейки стереотипов. Превращаются в знаки самих себя – прежних. В психологическом смысле время измеряется масштабом переживаний, эмоций.

* * *

Молодости важно оторваться от прошлого, чтобы сделать шаг вперед. Поэтому её эмоциональная доминанта – отрицание, неприятие предшествующего, критика. Зрелость, напротив, начинает ощущать свою преемственность с прошлым, с культурой. И уже не рассматривает культуру прошлого как инструмент насилия.

* * *

Личность в основе своей связана со временем, суть которого в превращении множественного – возможного – в единственное и как бы необходимое. Реализуя время отпущенной ей жизни, личность «избирает» и «строит» себя. Формирует свою непохожесть – осуществляется. И не только внешне, но и внутренне нас «вытачивает» время. Мы отягощены бременем своих прежних выборов, бременем своей судьбы.

* * *

Старшие так изменяют мир, что им – привыкшим к его «наличности» – очень трудно приспособиться, притереться к чему-то новому. Как правило, они отторгают от себя это новое, дабы облегчить свое расставание с миром, так сказать, хотя бы морально. И – «отпадают», уходят. Молодым же ничего не остается, как приспособиться к миру, каким бы он ни становился в своих изменениях. Любые изменения гораздо легче оправдываются «с точки зрения молодости». Миф, якобы, всегда прогрессивной новизны – это то, что дает возможность адаптироваться к новым обстоятельствам и жить дальше.

* * *

...Мне так часто хотелось сказать ему, человеку, которого я считал своим духовным Учителем, – дорогой Глеб Иванович, мы – прекраснодушны! И – в своем прекраснодушии – не адекватны действительности. И потому – объективно – религиозны, хотя, вроде бы, и атеисты... Но выростал вопрос: откуда берется антипрактицизм, потребность в отдаче себя другому, другим? Ведь всё это противоречит «здравому смыслу»! И – встречает скептические усмешки...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.